

*Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя
свободный ум.*

А.С. ПУШКИН



АНДРЕЙ БИТОВ

В ожидании ОСЕНИ

*...цензором у Пушкина был император, царь;
жена была главной красавицей России;
а он был самый гениальный человек,
который в России был рожден.*

АНДРЕЙ БИТОВ

Андрей Битов. Лучшее. Неизданное

Андрей Битов

В ожидании осени

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Битов А. Г.

В ожидании осени / А. Г. Битов — «Эксмо», 2018 — (Андрей Битов. Лучшее. Неизданное)

ISBN 978-5-04-106438-9

Новая и последняя написанная Андреем Битовым книга «В ожидании осени» – очередная глава в Пушкиниане автора. Битов анализирует Пушкинские тексты с точки зрения его стремления выполнить свою творческую миссию. По мнению Битова, идея и необходимость написать все задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 1824-му году. Что следующие 12 лет, вплоть до своей гибели, он последовательно и реализовывал, отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и везде достигая вершины. Побег от всего и всех ради творческой реализации и внутренней свободы – это было свойственно и самому Битову.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

ISBN 978-5-04-106438-9

© Битов А. Г., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Пушкин раскрывается в любом месте	6
Приближение	13
Болдинская 1836-го	15
Из Михайловского в Болдино	16
Пушкин и Грибоедов	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Андрей Битов

В ожидании осени

© Битов А., наследники, текст, 2021

© Гусева А., составление, 2021

© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Перед вами – новая и последняя книга Андрея Георгиевича Битова. Он хотел дописать свой «Пушкинский том». И хотя до самой смерти Битов сохранял совершенно трезвый ум, он все же нашел себе помощника. Эту книгу ему помогала собрать писатель и сценарист Ася Гусева. Часть текстов была написана, а часть – наговорена на диктофон. Для Битова было принципиально разделять виды записи. В результате, получилась даже не книга, а скорее последний разговор Битова – и о Пушкине, и о себе.

Пушкин раскрывается в любом месте

Я хотел начать с конца.

Так я с конца и начну.

Вдруг, в 2017 году, по каким-то внезапным причинам я оказался в Грузии. У меня было эссе «Грузия как заграница», и я хотел его снимать, как фильм. Мне хотелось в Грузию – это любимая моя страна. И еще, конечно, хотелось повидать моего старейшего друга Резо Габриадзе, с которым мы много сотрудничали, – по Пушкину в том числе. Вдруг все так совпало, что я смог там оказаться – в благословенной Грузии моей.

Буквально перед отлетом я взял рабочий том Пушкина, так называемый «Золотой том Томашевского» – истрепанный, поскольку он рабочий, я всегда с собой его вожу, и открыл «Кавказского пленника», которого читал аж в 49-м году, когда мне поручили доклад по Пушкину. Это было 70-летие Сталина и 150-летие Пушкина, и оба юбилея резонансно отмечались. Я добросовестно, как настоящий школьник того времени, прочитал, как мне показалось, всего Пушкина. Пропуская то, что мне было неинтересно. Я его и сейчас-то всего не прочитал, но вот тогда мне так показалось.

Я раскрываю «Кавказского пленника». И что же я читаю?

В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных гибельных тревогах.¹

Это совпадение – мое собственное. Ведь даже отец мой не знал, что Битов – это черкесская фамилия и что в пятом поколении я – черкес.

Но именно на этих строках я раскрыл «Золотой том».

Открываю его в другом месте.

И натываюсь на ответ Филарета Московского, когда он простодушно переиначивает стихи Пушкина:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

¹ Все черновики и стихи Пушкина цитируются по изд.: А. С. Пушкин. Кавказский пленник («Лит. памятники»): – Л., «Наука», 1978.

Эти стихи часто цитируются в примечаниях, их называют «любительской копией». Но, конечно, это не оспаривание чужой поэзии, это именно ответ, и ответ на том же языке.

Тут важно еще кое-что. Пушкин не всюду и не всегда датирует то, что пишет. Хоть он где-то и сказал: «У меня есть обычай ставить дату». Это не так. Но уж когда он ее подчеркнуто ставит, то это всегда важно. Таким образом, он для нас сохранил две даты по крайней мере. Это, по старому стилю, 19 октября и 14 декабря.

Тут на ответе Филарету сверху стоит «19 января». 19 января – это наше Крещение. Я как раз лечу в Грузию в январе. Этот ответ Филарету – удивительный ответ, который, я понял, отличается от всех виртуальных диалогов Пушкина с его пишущими современниками, гениальными пишущими коллегами, так сказать, которые я себе навывстраивал. Тут ответ другой – не виртуальный, а буквальный. То есть буквальный диалог состоялся: вот стихотворение Пушкина, вот ответ Филарета и опять стихотворение Пушкина:

В часы забав иль праздной скуки
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей...

Почему он так сурово отнесся к собственным стихам – непонятно. Но на фоне филаретовских стихов это совершенно не попытка свести счеты по поэтической линии. Это именно ответ духовному лицу, наставнику. Состоялся полноценный диалог.

Тогда-то я и подумал, а не ввести ли мне в золотой список тех, с кем Пушкин как бы переписывался, и духовное лицо, тем более что Филарет, митрополит Московский, был очень знаменит в свое время, его проповеди перепечатывались, и, в общем-то, ему достаточно поклонялись при жизни – уж не меньше, чем поэтам. Не меньше славы у него было, чем у наших представителей «золотого века». Не ввести ли мне в «золотой век» лицо духовное с прямым диалогом, подумал я. И вдруг явственно понял, что этого диалога мне не хватает.

А после Филарета я подумал: «А что же и женщины ни одной у меня нет в диалогах?» А потому, что, по-видимому, эти диалоги все очень личные и никого не поднять мне на уровень этих фигур – Филарета и самого Пушкина. Не лепить же мне снежный ком из Смирновой-Россет и Екатерины Карамзиной или донжуанского списка. Пусть другие занимаются этим, пусть преувеличивают или приуменьшают.

Они замечательные были, эти женщины, недаром Пушкин так ценил женскую сторону. Он не просто любил женщин – он любил их, по-видимому, как собеседников, душу их любил. Мне близка формула Марины Цветаевой – «Поэт и красавица». Недаром Наталья Николаевна так занимает умы. Она действительно была красива. И погиб он, защищая ее честь. Но не только в красоте ведь было дело. Впрочем, эта история тоже очень личная, хоть и сыграла такую роль в судьбе Пушкина.

Я подумал вдруг, а не взять ли все-таки это признание Пушкина за правду: «Татьяна – это я»? Я тут же сочинил и набросал такое маленькое эссе для пушкинского лексикона «Пушкин – женщина». Поскольку у него это есть – есть у него и то и другое начало. Иначе он так хорошо не понимал бы жизнь. То есть он сыграл нам, представил и роль Великой Женщины.

В своих дневниках («Путешествие и дневник. Статьи», с. 99–100) Кюхельбекер пишет: «Поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну. Для лицейского товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтобы об этом чувстве знал свет».

По-моему, прекрасные слова!

Кюхельбекер мог разглядеть... Пусть меня простят за привлечение такой ненаучной линии, как гороскопическая, но все-таки Пушкин – Близнец, а это фигура раздвоенная. Мне

давно казалось, что хоть Пушкин и был очень мужественный человек и смелый, даже чересчур, все же одного мужского таланта на него было мало. Было в нем еще и сильное женское начало. В Близнеце это есть – нечто андрогинное. И это было подмечено достаточно точно любящим человеком, безусловно не желающим Пушкину никакого зла, – Кюхельбекером.

Какой частью Пушкин вошел в Евгения Онегина? Неизвестно. Какой частью он вошел в Татьяну? Тоже неизвестно. Это очень меткое, безревностное замечание, наблюдение поэта, пусть невеликого, но поэта и друга, за другом и великим поэтом.

И тогда неожиданно становится понятным стихотворение «Труд», которое написано, по-видимому, по окончании «Евгения Онегина» в первую Болдинскую осень, странное стихотворение – гекзаметрическое, неровное, квадратное:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Это удивительный стишок, он висит как-то вне размеров, вне всего, но это, конечно, памятник завершению «Евгения Онегина» и расставанию с Татьяной, то есть в каком-то смысле расставанию с самим собой.

Я не знаю, в какой последовательности доходили до Кюхельбекера главы «Евгения Онегина», но, по-видимому, этого стихотворения он мог уже и не знать. Стихотворение 30-го года, а Пушкин отсылал не всё, и такой стишок мог остаться неопубликованным. Даже, скорее всего, неопубликованным и был: Пушкин не мог придать большого значения вот такому полугекзаметрическому стихотворению. Но оно очень личное, дневниковое – это факт.

И тут труд – это именно расставание. И расставание именно с Татьяной. Так мне кажется. Расставание с этой второй своей частью. И это есть – еще один диалог, диалог с той несуществующей в «золотом веке» Женщиной, с которой Пушкин мог бы сам себя соотносить. Только Татьяна могла бы быть с ним вровень.

Ему пришлось ее выдумать как своего собеседника. Так он, может, и Наталью Николаевну во многом выдумал. Я, кстати, – это мое убеждение, ни на чем не основанное, – думаю, что Сократ, конечно, придуманная Платоном фигура, а не реальная. Поэтому это первое настоящее прозаическое произведение, где присутствует герой.

Герой очень нужен автору. Автор – это эго. А в то же время и не он. То есть ответственность автор за героя не несет. Эта игра в героя и в автора, она двусторонняя, обоюдоострая. Часть отдается герою, часть отдается автору, и кто об кого обрежется, это еще неизвестно. Можно спихнуть свои недостатки на собственного героя, можно наградить его теми достоинствами, которыми сам не обладаешь. Такого рода творчество – это фантомная игра, игра в фантомы. И поскольку Пушкин – типичный близнец и их все равно двое, ему не так сложно было раздваиваться на мужскую и женскую части.

Мне кажется, не имеет смысла искать другой прообраз, не надо гадать, что за тени там стоят в вычеркнутом воспоминании 28-го года. Замечательно сливаются эти стихи по размеру с «Медным всадником», который написан позднее. Можно прямо сравнить:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.

Гениальные совершенно строчки! И как же они переходят в совершенно не «Медного всадника», потому что они так контрастируют с торжественным вступлением, но зато и продолжают по размеру и даже по заимствованию метафор «Воспоминание»:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья...

«Город пышный, город бедный» и «Дух неволи, стройный вид» – «Когда для смертного умолкнет шумный день» – это один ряд, один строй, один общий образ. А это стихотворение очень важное для 28-го года, потому что, по-видимому, одно из другого вытекало. И там очень много вычеркнутых строк. Например:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы...

Эта строфа вычеркнута целиком. А это довольно-таки важная строфа, и убирается она то ли из-за «безумства гибельной свободы», то ли из-за того, что это слишком впрямую было сказано. Но продолжение-то удивительное: «Но строк печальных не смываю...» Продолжение было опубликовано уже чуть ли не в 60-е, наверное, годы:

И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

Это надо иметь смелость выбросить такого качества строки, потому что они очень лично указывают на какие-то два адреса. Никто не может уже разгадать, кто таится под этими двумя адресами, кто сошелся в Татьяне.

Но на самом деле Кюхельбекер, по-моему, прав.

Екатерина могла бы претендовать на роль Великой Женщины, она была все-таки до и хоть и пыталась вырастить век Просвещения, не дорастила его, вырастив лишь целый ряд замечательных вельмож и замечательных литераторов. Но все же не Пушкина. Это не «золотой век.» Это все что-то такое более мамонтообразное: Державин, Карамзин даже, которого Пушкин чтит и которому очень обязан, и даже дедушка Крылов, про которого он сказал: «Вот единственный, коего слог русский». Это даже и не Барков, на которого он тоже ссылается. Это действительно XVIII век. А Пушкин только «успел родиться в XVIII веке».

Филарет же – фигура вполне другой, уже Пушкинской эпохи. И Пушкин дальше пишет:

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Что это такое? Это, конечно же, он слышал какую-то из проповедей – я иначе не могу это истолковать. И к тому же эта знаменитая молитва Филарета, которую я лично очень люблю, она уже существовала: «Господи, Ты один знаешь, что мне надо. Ты паче меня умеешь любить меня. Подыми и низвергни по усмотрению Твоему. Я лишь предстою перед Тобою, сердце мое разверсто. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Конечно же, это не могло не произвести впечатления на Пушкина – это очень сильные слова, достойные любых стихов, любых поэтов, Самого Господа. «Научи меня молиться. Сам во мне молись», – после таких слов Филарет безусловно достоин был серьезного ответа Пушкина.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

И тут же присутствует серафим, который возникает лишь дважды во всем творчестве Пушкина – в «Пророке» (1826) и здесь: «И внемлет арфе серафима в священном ужасе поэт». А следом идет:

Поэт, не дорожи любовью народной —
Восторженных похвал пройдет минутный шум.
Услышишь шум глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься горд, спокоен и угрюм.

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда ведет тебя свободный <дух> ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Дело в том, что тут понятие свободы наконец звучит откровенно в том смысле, в котором Пушкин и понимал свободу, а не в том, в каком его могла понимать толпа или революция. Эта дорога-то всегда свободна, вот в чем все дело, если открыто Небо.

Но это 19 января заставило меня по приезду в Грузию совершить ошибку. Когда я уже там снимался, я почему-то решил, что это неподвижный проект. И это совпадение 19 января

с тем 19 января, которое стоит, а у Пушкина не было 19 января, на что мне указала уже после съемок моя дочь, которая меня сопровождала. Все-таки это было 6 января. В этом случае большевики поработали так же, как они поработали со своей астрономической идеей и над гибелью Пушкина, и над рождением Пушкина, передвинув те даты и месяцы, которые он мог воспринимать на протяжении жизни. Ведь человек, даже не будучи мистиком, всегда будет ассоциировать себя с этими числами и с этими месяцами, даже не углубляясь в какие-нибудь зодиаки. Поэтому, кстати, я настаивал, когда попал в жюри Пушкинской премии, чтобы ее отмечали все-таки 26 мая – тогда, когда Пушкин родился, тем более что много стихов – по крайней мере три, как я знаю, – помечались этой датой, в том числе и «Дар напрасный, дар случайный», написанный на день рождения.

Эта ошибка заставила меня совершить досъемку. Я решил, что прошло Крещение, которое было замечательно провести в Грузии, тем более что я и крестился в Грузии и это моя прародина какая-то, как оказалось, и я люблю ее. Так что все мне годилось, кроме того, что я чудовищно, безграмотно ошибся из-за этой пляски дат, из-за которой мы до сих пор Рождество празднуем после Нового года. Это вовсе не мой протест, а та каша, которую заварили этой сменой календаря. А в календарь церковный я не заглянул.

Пушкин раскрывается в любом месте.

Я его раскрыл в двух местах, и он мне столько сразу наговорил!

Набоков хорошо знал Пушкина, судя по комментариям к «Евгению Онегину». Но знал по-своему и для себя. А как можно знать Пушкина иначе? Именно для себя и надо его знать.

У Блока есть замечательное указание на возможность продолжения жизни в Дневнике. Оно мне очень нравится: «как же так эта жизнь кончена, если я еще не выучил «Евгения Онегина» наизусть?» Это трогательное, очень ясное указание, где он видел, где он располагал это произведение.

Но, может, Пушкина и не надо всего знать наизусть? Мне очень нравится, что я могу еще успеть его почитать. На мой взгляд, то, что он открывается в любом месте, – это гораздо больше истина, чем знать всего Пушкина. Состояние единого текста. Я не представляю себе человека, который берет Библию и читает ее подряд, как обычную книгу. Мне кажется, настоящие книги следует читать только таким способом: они должны приходить, уходить и раскрываться в нужном месте, причем только для того, кто этого достоин. Я думаю, что такой способ и называется настоящим чтением.

Чтение, кстати, – от чего корень слова? «Чет – нечет» или «читать»? Я думаю, «читать». А читать можно именно все-таки проникая, а не изучая. Вот и Пушкин как непрерывный текст. Пушкин неразрывен, и в любом месте находишь для себя новое. Это удивительное состояние общего текста доказывается только хронологией, хронологической последовательностью. Тогда рождается состояние потока – как будто полупроводимость языка, проходящая через одну душу, одну личность. В общем, это к физике ближе, к какой-то высшей математике, а даже не к личности. Мы угадываем. Поэтому эта фраза, является ключевой: Пушкин раскрывается в любом месте.

И слово «раскрывается» тоже раскрывается в обеих ипостасях.

Он раскрывается в любом месте – в этом суть Пушкина. Это действительно замечательная истина про него.

Вообще, где начало, где конец – это никогда не ясно, потому что начало может быть концом, а конец – началом.

А пушкинский текст, я настаиваю, является единым текстом от первого слова до последнего. И важна только хронологическая последовательность, которую все-таки надо честно устанавливать, а не фасовать всё по жанрам и периодам.

Это единственный способ познания пушкинского текста – только его последовательность, собственная, которой он и следовал при издании собственных сочинений. И мне при чтении Пушкина пришлось все-таки прийти только к этой последовательности, постепенно наращивая смыслы. Можно наращивать Пушкина с конца, можно наращивать его с начала – для меня это безразлично. И поскольку мы сейчас исследуем якобы последнюю его часть, которая вошла в мой самый переполненный пушкинский том (последняя часть – Пушкин 1836 года, то есть предсмертный), я упираюсь вдруг сразу в Михайловское, которое я тоже разработал.

Между Михайловским и 36-м годом лежат двенадцать лет жизни Пушкина. Может быть, самых плодотворных лет.

Что же он наработал в эти двенадцать лет? Как он пережил этот период от освобождения из ссылки: из южной, из Михайловского, – вплоть до последнего года?

Приближение

У меня был когда-то зарок, что я никогда не буду посещать никаких пенат, никаких памятных мест – ничего. И поэтому никакого Михайловского, никакого Болдино, никакой Ясной Поляны в моей жизни быть не могло. Но, как известно, на то он и зарок, чтобы он когда-то пал. Так что сначала у меня пало Михайловское, потом – Ясная Поляна, а Болдино до сих пор не пало.

И я думал, надо успеть в этой жизни туда попасть, ибо оно ко мне подбиралось много раз. Оно ко мне подбиралось даже больше, чем я к нему.

Первое «Болдино» я написал в 1982 или 1983 году. Глава из моей первой книжки по Пушкину «Предположение жить. 1836» называлась «Болдинская 1836-го», что является абсурдом, потому что такой Болдинской в 36-м году не было.

Тогда уж надо сказать, с каких пор вообще Пушкин для меня начался, потому что когда я оказался в 1999 году в Лос-Анджелесе на праздновании 200-летия Пушкина (там какая-то была тусовка для многоязыких пушкиноведов или пушкинистов, а меня туда пригласили), то, придавленный этими высокоумными мужами и дамами, я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, потому что никогда не был ни филологом, ни пушкиноведом, ни пушкинистом, и этот важный академический тон мне претил. Но я вдруг вспомнил, что в каком-то смысле у меня 50-летний стаж пушкиниста, потому что в первый раз мне поручили доклад по Пушкину еще в школе к 150-летию со дня его рождения. Тогда праздновались два юбилея – 70-летие Сталина и 150-летие Пушкина. Внаглую я объявил себя полувековым пушкинистом среди пушкинистов.

В 49-м году я, наверное, не мог отличить Болдино от «Сказки о попе и работнике его Балде» – там Балда, тут Болдино, мне это было более-менее одинаково. Но я добросовестно читал всего Пушкина, пропуская его всего, то есть что мне было не надо, то я и пропустил. Но все-таки прочитал много чего, в том числе, кстати, и какие-то сочинения романного типа в духе Тынянова, который мне тогда нравился, кроме, кстати, начатого им романа «Пушкин», а вот «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» мне тогда понравились.

49-й год был полон событий. Тогда я впервые оказался на Кавказе, и впервые увидел горы, и смотрел на них из той же точки, из которой их видел Пушкин, который, кстати, «Кавказского пленника» тоже написал, не видя Кавказа, а тоже глядя на кое-какие туманные вершины из Минвод, из которых ничего, кроме грязи и пыли, не видно.

Но совершенно не собирался я заниматься Пушкиным. Я увидел горы и заболел ими. И мне стало все ясно про мое будущее, что я буду альпинистом. Я действительно посвятил себя в какой-то мере этому занятию и даже стал еще при жизни Сталина самым молодым альпинистом СССР, но дальше эту карьеру не продолжил. Потом я ее по окончании школы забросил, увлекшись уже нормальными человеческими вещами: дружбой, девушками, пьянством и попыткой поступить в вуз, который я выбрал тоже Горный, из-за слова «горы», потому что я болел горами.

Так что я был молодой человек совсем других интересов. И Пушкин отдалился от меня надолго.

Все случилось из-за того, что я стал писать этот роман, от названия которого не мог отказаться, «Пушкинский Дом». Герой мой был литературоведом, который якобы занимался Пушкиным. В какой-то момент я понял, что он такой же бездельник, как и я, и это как-то некрайсиво, надо ему дать какое-то дело. А тут как раз Академия вдруг издала Тютчева, которого я до того никогда не читал. Его издали, и я его впервые прочитал. А все это еще совпало со странной борьбой у новозарожденных русофилов – по-видимому, Тютчев привлекал их своей государственностью и тем, что он был чиновник, тем, что он служил. И они пытались, был такой момент, сбросить Пушкина «с корабля современности»: «Хватит, надоел». Возникла

идея, какая-то слабая попытка, и я ее уловил краем уха, – назначить первым Тютчева вместо Пушкина. Так я и напоролся на тему для своего героя. Там-то и возникла первая моя пушкиниана, за моей бессовестностью целиком отданная на совесть героя. Появилось сравнение – Тютчев и Пушкин. В результате получилось что-то странное, но это, опять же, отвечал он, а не я.

Но по-настоящему я попал в Пушкина еще позже.

Уже я расплатился за «Пушкинский Дом», за его выход за границей, оказался в полном запрете по профессии, по выездам – окончательно. Хоть я и не был слишком «выездным», но тем не менее. Всё совпало – без работы, без семьи, без дома – в общем, без ничего. И как-то вдруг мне досталась превосходная компиляция, сделанная врачом Вересаевым, «Пушкин в жизни». И, читая этот том, я вдруг понял наконец, как ему-то было тяжело! Мне сразу стало, как и положено всякому человеку, а тем более советскому, легче. Потому что если уж Пушкину было *так* плохо, так чего же мне-то жаловаться? Не ему все-таки чета.

Я увлекся и стал перечитывать все пушкинские тексты один за другим – как они и напечатаны в замечательном «золотом томе Томашевского».

И тут приближение к «Болдинской 1836-го» у меня и произошло.

Болдинская 1836-го

С двумя растрепанными томами я ездил в Абхазию и там сочинял эту книгу. Сочинял я ее года два-три, и в конце концов она сложилась.

Я начал с последнего года жизни.

Уже прошли три Болдинские осени – это 1830, 1833 и 1834-й. А в 1835-м – как-то пусто-вато. И вот – 1836-й. Ничего. А он в хорошей форме. Он же написал к концу жизни великий Пасхальный цикл. Но очередная осень не случилась.

Я отметил одну подробность. 19 октября, идя, как потом оказалось, уже после гибели Пушкина, на последнюю встречу лицеистов, он вдруг почувствовал, что пустой. Он обычно оказывался на таких встречах всегда очень плодовитым, плодоносным и уверенным в себе после осеннего урожая, когда из него буквально вываливалось. А тут – было бесплодно.

Я описал эту последнюю Болдинскую осень как его пытку перед 19 октября. Он понял, что едет пустым, и буквально в последний момент сложил вместе несколько совершенно неоправданных текстов, чтобы хоть что-то, чем-то блеснуть перед друзьями.

А именно – он делает совершенно ненужную приписку к законченной «Капитанской дочке», чтобы поставить там дату – «19 октября», пишет очень содержательный ответ Чаадаеву на его знаменитое письмо, но явно письмо, написанное для нашего Третьего отделения, для нашего Тайного ведомства, чтобы они прочли, такое псевдопатриотическое, но в то же время совершенно честное о том, что не надо уж так поливать историю России, все-таки что-то было и хорошее. И это все тоже помечается 19 октября. И еще он пишет, но не успевает закончить, потому что уже бежит, по-видимому, на встречу, послание встрече друзей – обычное, хроническое даже, я бы сказал, послание. Но незаконченное, длинное стихотворение. Про него известно только, что он стал его читать и, не дочитав, разрыдался. Вот и всё.

В нем тоже есть довольно патриотические строки, в официальном смысле слова, перекликающиеся с ответом на письмо Чаадаева. Думаю, он уже вполне осознает, что пойман в обе ипостаси – он должен и друзьям сказать, и властям ответить. А думает: «Ну раз уж читаете все моё, так вот и прочтите, какой я по-настоящему, – что я ни тот и ни другой...»

Так что главное в этой истории с Болдинской 1836-го то, что Пушкин делает вид, что он съездил – восполнил несуществующую осень.

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Я считаю, что к гибели его привела именно эта бесплодность сорванной осени 36-го года – ему не хватило еще одного побега.

Из Михайловского в Болдино

После восстания декабристов вдруг мы обнаруживаем Пушкина в очень двусмысленном положении. Друзей выслали, посадили или повесили, а его выпустили на свободу. Более того, он был принят царем. Не Пушкин же распространил эту знаменитую фразу: «Только что я беседовал с умнейшим человеком в России». Это, безусловно, сам Николай сказал кому-то для дальнейшего распространения. Другое дело, что, может быть, это Александру Сергеичу было и лестно, но я уверен, что он сам про себя знал, кто он такой – и учитывая, что у него уже был перед этим «Воображаемый разговор с Александром I», который он написал на границе Михайловского и в котором он все предвидел, и учитывая его заметку «Видел я четырех царей...».

Пушкин никогда не был, да ему и не светила карьера стать царедворцем – это ясно. А ему предлагали именно это существование – в свете приближенности к двору. Что радовало Наталью Николаевну, но это никак ему не годилось. Ему этого было мало. Хоть на вопрос, что бы он делал, если бы оказался в Петербурге в момент восстания, он и сказал очень прямо Николаю: «Я был бы с ними». Николай легко это пропустил и не поступил так, как Пушкин предвидел в разговоре с Александром I, – не сослал его в Сибирь за это, а назвал «умнейшим».

Тут одно стоит другого: быть «умнейшим» после казни друзей – это не очень годилось Пушкину.

А почему? Не думаю, что ему нужно было оправдаться перед общественным мнением. Его очень трудно сейчас взвесить. Что это было за общественное мнение? Насколько оно было проникнуто извращенным якобинством или революционностью, протестом? Насколько оно было за «веру, царя и Отечество»? Очень трудно сейчас это понять и оценить. Да в это и влезать не хочется. Дело вообще не в этом.

Дело в том, что он, по совести своей, не мог соответствовать ничему. Потому что был явно *над*.

И вот – начались стихи после Михайловского, которые можно прочесть совсем уже иначе, – стихи 26-го, 27-го, 28-го, 29-го годов... а потом уже и Болдинский период, растянувшийся на 3 года.

Первое же послание к декабристам вовсе не то, которое школьное и прославленное и якобы революционное «В Сибирь»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Первое послание – это посвящение Пушкину, самому близкому другу:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Пушкин написал этот стих. А потом сразу пишет «Пророка»!

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

«Пророк», между прочим, зарождался еще в Михайловском – обдумывался как тема, а вывелся вот только сейчас. Почему?

Тут надо бы сделать небольшой кульбит и вернуться к первой его южной ссылке, потому что если взять стихи перед Михайловским, то многое становится ясным.

В 1823 году Пушкин общался как раз с декабристами и с Южным обществом в Кишиневе и в Одессе. И вот там, в общем-то, еще совсем не старый Пушкин пишет стихотворение достаточно внезапное. По крайней мере, для меня.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Он пишет это в 23-м году, повторяю. То есть до Декабрьского восстания. Что-то тут в этом несоответствии дат мне видится.

Потом он пишет, я бы сказал, антиреволюционные стихи:

Зачем ты послан был и кто тебя послал?
Чьего, добра и зла, ты первый был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель?

Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустыли алтари,
Свободы буря подымалась.

Стихи, посвященные Наполеону, по-видимому. Великолепное описание революции как таковой, которое подходит потом к любой революции, довольно-таки суровое описание того безобразия, которое она с собою несет.

Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло, все стало тенью —
Все было предано презрению,

Как ветру предан дольный прах.

Эта вечность власти и эти всполохи свободы – они Пушкину были видны насквозь.

В Михайловское он приезжает уже с более серьезными вещами, чем его романтические поэмы, составившие ему всероссийскую славу. Но то, что он дальше будет писать, долго не дойдет еще до читающей публики и долго не вызовет у нее ни энтузиазма, ни популярности.

Пушкин привозит в Михайловское практически написанных «Цыган» и начало «Евгения Онегина». И это уже совсем другой уровень письма. А потом он пишет «Воображаемый разговор с Александром I», в котором есть такие слова: «Он бы разгневался на меня и сослал бы меня в Сибирь, где бы я написал поэмы «Ермак» или «Кучум» разнообразными размерами с рифмами». У меня создается впечатление, что задолго до зайца, который, по преданию, перебежал ему дорогу и дал поехать в Петербург, где потом состоялось восстание, задолго до него Пушкин уже все знал. Потому что если поставить подряд эти три текста, то отчетливо видно провидение того, что может случиться и, не дай бог, случится, того, как это все обернется. И это все подтвердилось жизнью.

Все это достаточно странно, если предполагать его готовность попасть на Сенатскую площадь, которую нам усиленно насаждали советские идеологи, поскольку из Пушкина делали и декабриста, и революционера, и противника царского режима, и все что угодно. Из Пушкина всегда лепят то, что нужно той или иной идеологии.

А вот несостыковка тут имеется.

Потом он развивает это антиреволюционное стихотворение «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» в Михайловском в стихотворении «Андрей Шенье», и там есть такие поразительные слова:

...Увы, моя глава
Безвременно падет: мой незрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру...

Это рассуждение приговоренного к казни поэта.

Так что с решимостью и смелостью у него проблем нет, а вот с тем, как это осуществлять, к кому примкнуть – об этом он совсем не думает, этого у него нет, потому что и не может быть. К кому тут примкнешь? Отсюда и появилось мое «Вычитание зайца».

Я стал думать. Ладно, заяц. Дело было в том, что Пушкин очень уж хорошо работал в Михайловском. Арина Родионовна дров недодавала, холодно было, никто не мешал. Он много и хорошо работал и... встал на мировую дорогу. Байрон уже отошел в сторону, он явно сориентировался на Шекспира в «Годунове». Он варился уже в «мировой литературе», хотя такого термина еще не было, он не был еще осознан как часть общелитературного сознания, что зачастую есть некое общее неевклидово пространство литературы, в котором все осмысляется до конца. Пушкин уже оказался в этом пространстве.

Все складывалось весьма хорошо. Чувство было, что он вышел на новый уровень. Тут еще и «Евгений Онегин» хорошо пошел, которого он задумал – между прочим, я об этом тоже писал, – когда ему Пущин привез «Горе от ума». Могли возникнуть и ревность, и соревнование с Грибоедовым, единственным человеком, с которым Пушкин считался. Есть даже гипотеза, что они писали на спор. Но я не думаю. Просто Пушкин решил, что пора писать роман в стихах. И сразу перешел в свое очень будущее пространство. Хотя существование «Горя от ума», успех в обществе свободного, успешного и свободно передвигающегося московского конкурента Пушкина, конечно, обескураживало. Это отдельная тема, которую очень остроумно придумала Галина Гусева, а мы потом развили в ее альманахе «Другие берега».

Пушкин и Грибоедов

«Горе от ума»² очень сильно влияло, давило, и нервировало Пушкина. И может быть, это единственное произведение современной ему русской литературы, с которым ему пришлось внутренне посчитаться.

Поскольку всякий сюжет выстраивается всегда с конца, а потом по традиции переворачивается, как в нашем хрусталике, – мы знаем про кончину человека, а потом узнаем что-то о его детстве; в повествовании биографическом мы начинаем с детства и кончаем кончиной, имитируя течение времени, – так вот, эту историю разбирать надо все-таки с конца – это естественный ход.

А концом является знаменитая характеристика, данная Пушкиным Грибоедову в «Путешествии в Арзрум», которая разошлась потом по всем учебникам, которая действительно прекрасна, блистательна и очень щедра.

Кроме одного. Кроме сюжетной зацепки, которая меня всегда волновала. Я совершенно не собираюсь уличать Пушкина в какой-либо неправде, но мне чрезвычайно сомнительно, что он действительно встретил эту знаменитую арбу.

Мне всю жизнь это было сомнительно как-то интуитивно. Но я вовсе не хочу... я вполне оправдываю даже и сочинение этого факта. Тем более что эта сюжетная встреча дала повод отдельно рассказать о Грибоедове.

В «Путешествии в Арзрум» таких отступлений, таких «грыж» больше нет.

Для меня это было еще важно для осознания, разработки того метода... «метода» громко сказано – способа, с которым я уже несколько раз осторожно, с острасткой, к Пушкину приближался и потом что-то там сочинял, сначала робея и думая, что это исключение, а потом поняв, что в течение уже нескольких лет время от времени пишу о Пушкине сочинения.

И вот эта заинтересованность в «арбе», собственно говоря, методологична: предыдущая книжка («Вычитание зайца», она только что вышла) о том, как заяц перебежал Пушкину дорогу и Пушкин не поехал участвовать в восстании на Сенатской площади.

Но дело в том, что опять же: заяц свидетель и Пушкин свидетель.

А эта история была несколько раз рассказана и потом несколько раз пересказана современниками, которые уже потом спорили о количестве зайцев... О количестве этих примет... Но свидетель-то был один – Пушкин.

И вот – сомнение в арбе... сомнение в зайце... а когда я первое и самое обширное сочинение писал о Пушкине в 36-м году – «Предположение жить», то там, по разным главам, – тоже какие-то сомнения... Ну, вот почему он написал перед дуэлью это письмо? С какой это стати? С какой стати он берет и возвращается за шинелью перед дуэлью? В жизни своей, когда он что-нибудь забывал, то, как человек суеверный, держал за правило либо не возвращаться, либо не выходить вообще. А тут в самый ответственный, самый рискованный момент он, видите ли, возвращается за шинелью...

Словом, каждый раз – какое-то сомнение. Зачем он столько раз поставил дату «19 октября 36-го года» на всем, что попало: на письме Чаадаеву, которое он не отправил; в «Капитанской дочке» сделал практически ненужную приписку, чтобы снова поставить это «19 октября»?.. И так далее.

Я цепляюсь за какое-то такое странное свидетельство, и оно мне строит способ. Это есть способ повествования.

Не тщеславие восстановить еще не восстановленные в пушкинской жизни факты мной движет, а попытка найти собственные свидетельства Пушкина.

² Литературный альманах «Другие берега», № 4–5. Пушкин и Грибоедов. 1994. М.

Сам Пушкин, как известно, сердился, когда в 24-м году, после смерти Байрона, были опубликованы дневники Байрона и все стали читать сокровенные его секреты, – Пушкин возмущался, его коробило, что вот толпа, плебс... Таким поиском я тоже вроде бы не занят. Но мне интересно, как он сам хотел себя видеть.

Я построил такую как бы теоретическую часть, – то есть я ее еще не разработал, но она должна быть разработана для статьи о Грибоедове и Пушкине. Так вот зачем он совершал такие странные или несерьезные, незначительные поступки, о которых любил потом рассказать и... внедрить их в сознание. Я назвал их для себя *мифологическим фактом*. Это не просто ложь или хвастовство, это определенные точки для построения сюжета. Мы знаем, как чуток был Пушкин насчет взаимоотношений поведения и судьбы, фактов и характера. Так вот – *все построено на этом*.

Важно не только то, что он сочинял. Но и жил он тоже очень своеобразно. Не потому, что он свою жизнь как бы «переплетал для потомков», но потому, что это единый метод понимания. И окружающей жизни, и текста.

Он зачем-то *придумал про зайца*. Для меня это объясняется так – он стоял перед выбором. Он в ноябре закончил «Годунова», он почувствовал себя так прочно стоящим на мировой дороге, назначение уже начало как бы исполняться. И для него встал выбор между продолжением обретения назначения и авантюрой общественного поступка.

Время от времени его потрясали такие авантурные планы, горячка: что сбежать за границу, что жениться, что на дуэль... То есть каким-то образом нетерпение игрока к перемене участи всегда в нем наличествовало, но периоды большого подъема, творческой производительности всегда снимали этого рода активность. И в этот момент – после «Бориса Годунова», с безусловно назревшим планом «Маленьких трагедий»... он был просто лишен этой активности.

А все-таки... А все-таки это были его друзья... И все-таки их повесили... И очень хорошо известно, и Анна Ахматова об этом много писала, какого рода переживания у него в этой связи были: те – пострадали, а он в этот момент – тактично, по-русски, отпущен на свободу. Например, подписание в печать, как это у нас теперь называется, первого сборника стихов Александра Сергеевича совпадает по времени с началом следствия над декабристами – такая замечательная параллель.

Так что внутренне ему было очень неудобно. Тем не менее выбрал он это сам. «Заяц» стоит тут, как такая вот шутка.

Теперь с этой арбой. Это меня занимает.

Конечно, можно было бы и нужно было бы все это подробнее исследовать – поехать в Тифлис, выяснить (это несложно по тогдашним газетам сделать), когда тело Грибоедова привезли в Тифлис, совпадает ли это по времени с путешествием Пушкина и так далее. Но я – не исследователь. Меня даже устраивает не проверять до тех пор, пока я все же не напишу этот текст. Я ограничиваюсь просто литературными ощущениями: встреча тела Грибоедова – вписанный кусок.

Впрочем, даже если по времени это и сходится, они могли просто проехать по параллельным дорогам. Словом, проверить это невозможно, мы это никогда не восстановим...

Так или иначе, но эта арба в любом случае – факт его воображения. Но воображение необходимо для завершения сюжета, который развивался в нем, подспудно, может быть, даже и для него самого – как говорится теперь, подсознательно.

Есть рамки этого сюжета, которые надо исследовать: конечный момент – эта арба, начальный момент – знакомство. Это уже вокруг лица надо поискать.

Есть один очень важный для Пушкина момент: он причислял себя к военному поколению. Война застала его двенадцати-тринадцатилетним мальчиком. И тут есть граница: участвовавшие и неучаствовавшие. Люди, на пять-шесть лет старше его, уже участвовали. В том

числе и Вяземский, и Чаадаев, и Грибоедов... Таким образом, разрыв в какие-то пять лет становился принципиальным.

Пушкин явился и был сразу поприветствован всеми ими как *обещание*. Признав сразу «Руслана» и поставив сразу же ученика над учителем... Потом они все еще травили его, бедного, тем, что он должен сделать не меньше Петра. Это когда он был в ссылке – мальчишка, заброшенный в провинцию. И всегда его обвиняли в лени.

Это была у него очень романтическая область – дружба со старшими. И взаимоотношения с Вяземским, с Чаадаевым, с Грибоедовым могут быть разобраны в ключе взаимоотношений со старшими. Которых он, кстати, позднее в процессе внутренне перегнал. И эти отношения очень интересно рассматривать, когда Пушкин стал и более зрелым, и более глубоким – и это абсолютно не было замечено окружающими. В том числе и близкими людьми, которые имеют такую «однокашную», школярскую позицию – быть старше.

Ну, вот. С Грибоедовым у него был такой комплекс: во-первых, Грибоедов окончил университет... то есть все, что я теперь говорю, надо анализировать, это я как бы накидываю, это такая корзинка... Так вот, Грибоедов окончил университет. Знал языки. Служил в иностранной коллегии. Был уже *вхож*... Был уже взрослее... Был знаменит по части романов, а эта слава очень волновала юношу... То есть с Грибоедовым что-то закладывалось уже тогда. Как с личностью. Словом, это все более или менее уже известные вещи. Их просто надо суммировать и нарисовать такой портрет взгляда мальчика на взрослого. Вы сами прекрасно знаете, как дети образуют божество. И в особенности из тех, кто чуть-чуть старше. Это сбрасывать нельзя никак. Это – на всю жизнь. Когда кто-то старше – в школе, в пионерлагере, не знаю, в камере... Так вот, в камере, которая называлась лицей, это тоже так.

Эта область точно не обследованная, и она служит здесь для создания рамки: во-первых, знаменитая арба с телом, и второе, – знакомство.

Но основное событие возникает, конечно, когда возникает слух, что вот появилось «Горю от ума». И это опять Грибоедов. Это конец 23-го года.

Какое могло это произвести впечатление на молодого человека двадцати четырех – двадцати пяти лет, сменившего южную ссылку на Михайловское, засевавшего там в перспективе надолго?

Он вызрел, его уже раздражают все соотношения с Байроном, он уже написал «Цыган» – сочинение такое... на виток по сложности, по интеллектуальной... странности... на виток, конечно же, дальше Байрона. Тут не надо сравнивать таланты, а просто – по развитию духа. А его все еще с Байроном сравнивают. Просто потому, что успех пришел к нему вместе с романтическими поэмами – с «Кавказским пленником» и «Бахчисарайским фонтаном». А у него-то уже написаны первые главы «Евгения Онегина»...

Что это значит: «написаны первые главы»? Это тоже надо знать. Значит, план сочинения, или образ сочинения, или тело сочинения уже есть. Есть образы, есть мир, форма уже найдена – достаточно первой главы, чтобы понять – «Евгений Онегин» уже есть. Обидно, если бы его не было – да?

Насколько зрелы замыслы Пушкина, написавшего уже «Цыган» и пишущего «Евгения Онегина»...

В этот момент происходит слух, что Москва гудит, Россия гудит и так далее – в связи с «Горем от ума» Грибоедова.

Который у него связан с юношеским воспоминанием, а может быть, с комплексом и восхищения, и недоступности, и сравнения...

Ну а Пушкин живет... в вакууме всю жизнь. Пушкин внеконкурентно живет. Его щедрость по отношению к друзьям, его признание всех своих современников – это такое... поглаживание... Это не снисходительность, это очень искренне. Но еще и в том тоже часть подвига, что он лидерствует вне конкуренции: он сам себе назначает свои планки. А не по советам.

Вопрос написания или ненаписания – это энергетический вопрос. Сколько бы он сам ни мог, сколько бы ему Бог ни посылал – это всегда вопрос: где гений черпает энергию. Написание произведения – это энергетический вопрос.

В этом есть много спортивного, соревновательного. Пушкин, как известно, был спортсменом – палочку бросал, на лошади скакал, в холодной ванне сидел... Энергетика его довольно сильная. Но взбудораженная. Он весь кипит – то ли бежать, то ли стреляться, то ли жениться. Это с ним всегда случается перед выходом на какой-то следующий виток развития.

Значит, он весь взбудоражен, но он вызревает – он выходит на Пушкина, которого мы и называем Пушкиным. На постромантического. То – уже сделано, то – начато. Перелом пережит... И в этот момент Грибоедов появляется. «Горе от ума».

И вот тут – знаменитый проезд Пуштина через Михайловское в декабре 24-го года: он привозит Пушкину список «Горя».

И вот ухо Пушкина, – и у нас есть ухо неплохое, но у Пушкина, надо подозревать, ухо было. С одного раза, я думаю, с запаха ловят гении друг про друга, про существование друг друга, про возможность этой конкуренции, этой связи... Если позднее на основании одного только слуха про «Фауста» он пишет «Сцену из Фауста», зная, что где-то еще жив старый гений, еще не перевелись, еще водятся... А про Пушкина в этот момент можно сказать, что он и вообще не водится – ни в мире не водится, ни в России – он живет где-то в деревне, в Михайловском, и знает, что есть Байрон и Гете. А тут Грибоедов... Современник... Свой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.